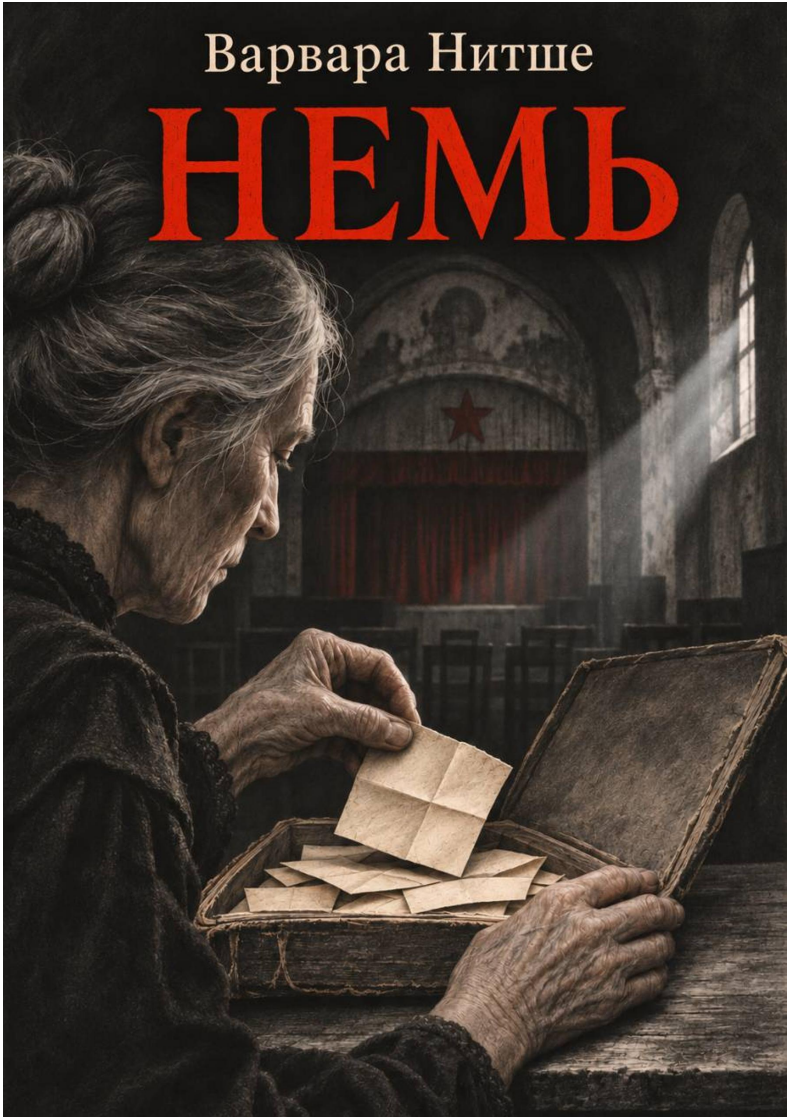
Варвара Нитше

НЕМЬ



Варвара Нитше
Немь

https://litres.ru/74719169
SelfPub; 2026

Аннотация

Пять лет назад Савва Шумов утонул. По вечерам из его окна до сих пор слышна музыка.

В Неми утонувшие возвращаются домой дожить годы, которых лишились. Савва чинит магнитофон, перематывает плёнку, забывает выключить запись. Нина знает, сколько ему осталось: в бабушкином помяннике срок Саввы отмерен до весеннего ледохода.

Каждую весну река берёт одного человека. В сельском клубе бабушка Нины разворачивает сложенный листок и читает имя. Мужчина у стены снимает шапку. Когда пойдёт лёд, ему предстоит спуститься к воде.

Нина пытается понять, почему назвали именно его. В старых записях она находит след девочки, которую пять лет назад вытащили из реки живой. Нина перечитывает помянник от корки до корки. О девочке в нём нет ни строки.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОДИН 4
ГЛАВА 1 4
ГЛАВА 2 33
Савва 39
Савва 54
ГЛАВА 3 56
Конец ознакомительного фрагмента. 63

Варвара Нитше
Немь

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОДИН

ГЛАВА 1

До школьной калитки было четыреста шесть шагов, если выходить из нашего двора, спускаться по взвозу[1] и не сворачивать за магазин. Я знала это с седьмого класса и каждое утро проверяла, будто за ночь кто-нибудь мог передвинуть школу. В феврале приходилось ставить ногу в чужие следы: снег под стенами был утоптан, а посередине взвоза его сдирали полозьями саней до самого льда. Где лёд был гладким, я искала вчерашний отпечаток валенка. Если сбивалась со счёта, возвращалась к воротам и начинала сначала.

Бабушка выпустила меня, не дождавшись, пока я застегну ватник. В раскрытую дверь она спросила, взяла ли я хлеб. Я показала завёрнутый в бумагу ломоть, и она закрыла дверь прежде, чем я успела убрать руку. Чёрный отцовский ватник доставал мне до колен, рукава были подвёрнуты дважды; под

[1] Взвоз — дорога по крутому подъёму; здесь спуск с Верхней Неми к нижней улице.

ним шуршал серый передник, который уже не отстирывался добела. Я нагнулась поправить валенок и только тогда коснулась шеи сзади. Воротник за ночь опять отсырел. Бабушка грела дом с вечера, но на это тепла не хватало.

На сорок втором шаге я миновала клуб. В бывшей церковной стене было шесть окон, обращённых к дороге, и в одном с осени не хватало наружного стекла. Летом его обещали заменить, зимой заткнули ватой. Из-за двери доносился стук: кто-то уже двигал скамьи перед собранием. Я смотрела на тёмные носки своих валенок, поднимала глаза только до рамы и продолжала считать. Окна можно было пересчитать бесплатно.

У нижнего конца взвоза меня обогнал мальчишка с портфелем на одной лямке. Он крикнул, что первый звонок будет раньше, потому что Алла Борисовна велела собрать десятый класс в кабинете до уроков. Я узнала голос, но не подняла головы. Он проскользил остаток спуска на подошвах и побежал дальше, а я остановилась, чтобы не потерять двести семнадцатый шаг. Алле Борисовне, должно быть, опять нужны были сведения о том, кто собирается после школы учиться. На прошлой неделе она спрашивала про училище в Архангельске; я ответила, что узнаю расписание, когда выдадут аттестат. Расписания у меня не было. Было название станции — Карпогоры, выведенное на заднем листе тетради, и сумма, которой пока не хватало даже на дорогу до неё.

После поворота на нижнюю улицу я держалась подальше

от домов. Зимой хозяйки вывешивали простыни на колья у дороги; замёрзшие, они стояли ровно и могли ударить по лицу, если пройти близко. На двести восемьдесят девятом шаге пришлось посторониться перед санями, везшими в школу уголь. Лошадь наклонила голову к обочине, возчик придержал вожжи и пожелал мне доброго утра. Я ответила, не глядя на него. От холодного воздуха саднило горло, и голос вышел ниже, чем дома.

Лукинский дом стоял последним перед дорогой к магазину. В его нижние венцы[2] когда-то вошла вода, и брёвна там были темнее остальных даже в сухой месяц; отец показывал мне их ещё маленькой, когда мы возвращались со склада. Теперь до брёвен намело снегу, а в окне на улицу горела лампа. Под лампой Дарья Лукина стояла с ребёнком на руках.

Петю Лукина я знала по имени, а не в лицо: он появился на свет за семь лет до меня, но почти всё, что о нём говорили, я слышала от соседей. Когда Дарья выходила за хлебом, она несла его под пальто, чтобы ветер не попадал в лицо. Если кто-нибудь спрашивал, как он, она отвечала: «Дома». Младенец лежал у неё на сгибе руки, и она одной ладонью придерживала край пелёнки у его щеки. Сегодня она не смотрела на дорогу. Она смотрела на пелёнку, словно там расходился шов.

Я успела отсчитать триста двенадцать и отвернулась бы, если бы Дарья не подняла руку к виску ребёнка. На свету

[2] Венец — горизонтальный ряд брёвен в стене сруба.

возле крошечного уха блеснуло мокрое место. Из трубы шёл дым. В доме топили, а мокрое место не подсыхало. Дарья сдвинула палец ниже, к затылку. Я набрала воздух и удержала его. Знала, что это не поможет; всё равно удержала.

За стеклом были мать, ребёнок и белая тряпка, которую она поправляла. Мне хватило полоски кожи между чепчиком и воротом рубашонки. Там держалась вода, не стекая; пелёнка у щеки оставалась сухой, хотя Дарья снова и снова подтягивала её край выше. Я видела отметину. Сколько ему оставалось, она не говорила. Этого нельзя было узнать у окна.

Между домом и калиткой надо было пройти ещё девяносто четыре шага. Я отвела глаза к полозьям саней, зацепилась валенком за колею и остановилась, пока не отпустило грудь. Возчик уже разгружал уголь у школьной стены; железо стукнуло о железо, и Дарья повернулась к окну. Я увидела её руку на раме и поспешила за магазин, куда обычно не сворачивала. Там школьный сторож разбивал пешнёй[3] лёд у водостока, чтобы талая вода весной не шла под крыльцо. Он поднял голову, пропуская меня, и я прошла, глядя на деревянное древко у его ног.

За магазином я продолжила счёт с трёхсот тринадцати. Дорожка огибала сарай и выходила к школе с другой стороны, откуда до калитки было дальше. Воздуха после короткого взгляда стало меньше; если идти быстро, грудь сжимало

[3] Пешня — тяжёлый лом на деревянной рукоятке для долбления льда.

раньше, чем удавалось вдохнуть. Я шла медленнее, хотя из школьных окон уже выходил свет и мальчишка с портфелем давно скрылся внутри.

У калитки получилось четыреста семьдесят три. Последнее число я выговорила вполголоса и услышала, как низко оно прозвучало. Сторож ударил пешнёй ещё раз; за углом магазина лежали санные следы, и по ним я могла бы вернуться к Лукинскому окну, проверить то, что видела. Я открыла калитку и пошла к крыльцу. В кабинете Алла Борисовна собиралась говорить с нами о заявлениях, а без аттестата не было ни билета до Карпогор, ни поезда дальше. Я поднялась по ступенькам, стараясь не кашлять. Голос ещё можно было спрятать. Опоздание — нет.



Когда я вошла, десятый класс уже сидел за партами. Алла Борисовна положила на учительский стол тонкую стопку листов и снимала с неё один за другим, не глядя на фамилии: она знала, кто сидел перед ней, лучше, чем полгода назад, но всё ещё могла перепутать, чья мать работает в магазине, а чей отец на складе. На ней был тёмный жакет, застёгнутый до самого горла, волосы стянуты в тугой пучок. Она взглянула на часы и сказала, что до звонка осталось три минуты.

Я прошла к своей парте. Рита сдвинула локоть с моей половины, не прерывая разговора с соседями; на её форме у самого плеча блестел значок с Пугачёвой, а пояс был ушит так, что учительницы видели его раньше, чем поднимали глаза к лицу. Она подтолкнула ко мне лист и прошептала:

— Заполняй. А то опять уйдёшь, будто тебя здесь не было.

Наверху было напечатано «Дальнейшее обучение», ниже оставлены строки для места и срока подачи заявления. У нескольких ребят ответы уже были готовы: училище в Карпогорах, техникум у родственников, работа на складе с сентября. Я поставила фамилию, написала «Архангельск» в графе города и остановилась перед названием училища. В тетради у меня был только вокзал в Карпогорах, и даже до него ещё нужно было добраться.

— Можно пока без названия училища? — спросила я.

Голос вышел таким низким, что Алла Борисовна попросила повторить. Рита вскинула голову, посмотрела на меня,

потом на учительницу и сказала своим обычным громким голосом, что Нина пока не выбрала училище. Я не стала её исправлять. Учительница подошла к моей парте и отметила карандашом край пустой строки.

— Название допишешь, когда узнаешь, куда подаёшь документы. А вот это реши сейчас: будешь ходить на дополнительные занятия по сочинению или нет? Они после шестого урока, два раза в неделю.

Рита под партой согнула мой лист пополам, чтобы я перестала тереть ногтем пустую строку. Два лишних часа в школе означали, что домой я вернусь, когда бабушка уже встанет к своей доске, и о книге она снова скажет, что учить меня читать было проще, чем дождаться от меня помощи. Алла Борисовна держала карандаш над списком. Я показала ей два пальца и произнесла «буду»; низкий голос на этот раз не заставил её переспросить.

После первого урока Рита догнала меня у двери и потребовала черновик сочинения. У неё был мой старый лист с исправленными ошибками, который я дала ей накануне: она успела переписать первую половину, пока учительница объясняла, где достать справки для поступления. Я отдала ей оставшиеся страницы и сказала, что вечером мне понадобится тетрадь обратно. Рита обещала вернуть её до последнего урока, а потом спросила, почему я вообще записалась на занятия, если ещё не выбрала училище. Я ответила, что сначала нужен аттестат. Она сказала: «Нормально», но свой за-

полненный лист убрала так быстро, что я не увидела ни одной строки.

* * *

После уроков я зашла в сельпо за тетрадью. Мне нужна была одна, на двенадцать листов, а Люба выложила на прилавок толстую, в зелёной обложке, и сказала, что тонкие разобрали ещё в понедельник. Я пересчитала монеты на ладони, хотя уже сделала это дважды по дороге: если брать толстую, не хватало пятака.

В старой тетради оставалось четыре чистых листа. На одном можно было закончить сочинение, на втором переписать его без помарок, третий сохранить для исправлений, а четвёртый не трогать вовсе, потому что привычка оставлять себе хоть что-нибудь лишнее была сильнее даже бабушкиной привычки спрашивать, куда уходит бумага. Мне нужны были оценки за четверть, потом аттестат и билет до Карпогор. Стоя перед Любой с недостающим пятаком, я ненавидела именно это: большая дорога умещалась в одну дешёвую тетрадь, а её у меня не было.

За мной стоял человек в ватной куртке, слишком просторной в плечах и застёгнутой до горла. Куртку он не снимал даже у печки. Я видела его сапоги — большие, с белой известью на носках, — и край бумажного пакета, который он держал под мышкой; выше старалась не смотреть, потому что в магазине и без него было на кого тратить дыхание. Люба, розовая от печного жара, считала сдачу вслух и стучала мо-

нетами по блюдцу от чашки. На её пальце оставалась нитка от мешка с сахаром.

— Я дам, — сказал человек у меня за спиной. — Пятак ведь?

Я не ответила сразу. Люба протянула руку над тетрадью, и он положил в её тёплую ладонь монету, вынув её из кармана так быстро, будто давно ждал случая кому-нибудь одолжить. Когда он повернулся ко мне, я узнала Гену Сотникова: светлые волосы, подстриженные неровно, как у всех в бараке после чьей-то воскресной попытки сэкономить на парикмахере, широкое довольное лицо и взгляд человека, которому приятно, что его помощь понадобилась ровно на пятак, а не на целый рубль.

— Вернёшь, когда будет, — сказал он. — Я до июля здесь.

— У неё в мае выпуск, — сказала Люба за меня. — Вдруг она после этого в Архангельск уедет?

Я поджала пальцы под краем прилавка. Люба не делала секрета ни из чужих покупок, ни из чужих планов, и от неё уже половина Нижней Неми знала, сколько раз я спрашивала, когда откроют дорогу на Карпогоры. Гена посмотрел на меня без любопытства, которым взрослые обычно сопровождали слово «уедет»; он, кажется, просто прикидывал, как вернуть свой пятак, если заёмщица доберётся до вокзала раньше него.

— Тогда почтой пришлёшь, — сказал он. — Марку на конверт я тебе тоже займу.

— До июля, — повторила Люба и придвинула мне тетрадь. — А там что, на повышение?

Гена положил свой пакет на прилавок. В нём были чай, хлеб и дешёвые конфеты в перекрученных фантиках; из внутреннего кармана куртки он вынул маленький блокнот в клетку. Он спросил у меня карандаш, и я дала свой, короткий, уже без краски возле пальцев. Вернул он его сразу, вместе с моей толстой тетрадью, которую придвинул, освобождая место для своих подсчётов; его рука на мгновение накрыла мою. Пальцы были холодные, как ручка ведра, принесённого с реки, но от прикосновения в груди ничего не прибавилось. Под воротник я ещё не посмотрела.

— До июля накоплю на мотоцикл. На баржу его, до Карпогор, а оттуда уже своим ходом до Вологды. Чемодан к багажнику привяжу, небольшой. Чтобы ни у кого места не просить.

Люба рассмеялась и сказала, что на мотоцикле с чемоданом он свалится на первой же дороге за Карпогорами. Гена показал ей на клетчатом листе, где будет записывать получку, сколько оставит на еду и сколько отложит; по зимнику[4] домой сейчас не выехать, летом без баржи тоже, зато в июле, по его подсчёту, всё должно было сойтись. Он объяснял терпеливо, не обижаясь на смех, и в каждом его «будет» слышалась уже проверенная вещь, как будто чемодан стоял у кой-

[4] Зимник — дорога, проложенная по снегу и льду и пригодная для проезда только зимой.

ки, мотоцикл ждал на берегу и оставалось только получить сдачу. Мне он показал клетку с оставшейся суммой и предложил проверить, потому что я всё ещё держала карандаш и потому что некоторые люди охотнее верят чужому счёту, чем своему, если речь идёт о будущем.

Я стояла сбоку, за его плечом. Люба видела лицо Гены, его руки и раскрытую тетрадь; мне из-за поднятого воротника досталась узкая полоска кожи на затылке. Волосы там темнели от воды. Ни одна снежинка не могла попасть под куртку так ровно, и капля, задержавшаяся у шва, не высыхала возле печки. Я задержала дыхание, как всегда делала, когда уже поздно было отводить глаза.

В ноябре Гена провалился под лёд. Толя вытащил его, Зоя Андреевна привела в чувство и велела лежать, а к понедельнику он опять таскал брёвна; эту часть истории Гена рассказывал охотно, прибавляя, что теперь ему не страшен никакой мороз. Я видела только затылок и то, как он улыбался Любе, когда она придвинула ему блокнот обратно. Этого хватило, чтобы понять, что ноябрь не кончился для него в понедельник. Сколько у него впереди, кожа не говорила. Для числа нужна была другая книга.

— Смотри, Нина, — сказала Люба, — ты теперь Гене пятак должна. Не забудь.

Я хотела сказать, что запомню сама. Вместо этого из горла вышел сиплый, слишком низкий звук, и Люба нахмурилась: зимой она каждый день слышала мой кашель, но голос по-

сле него обычно не становился таким. Я кивнула. Пока Гена переписывал свои суммы, мне пришлось опереться рукой о край прилавка и ждать, чтобы следующий вдох дошёл до самого низа груди. Монета лежала между нами, хотя её уже убрали в кассу.

— Ты бы тоже к Зое сходила, — сказала Люба. — Сколько можно с этим горлом.

Гена поднял голову. На секунду мне показалось, что он сейчас скажет про ноябрь и про то, как ему помогла Зоя Андреевна; он только закрыл тетрадь, убрал её во внутренний карман куртки и уступил мне дорогу к выходу.

— Там, у повети[5], осторожней, — сказал он. — С крыши скользит. К лету починят.

Он опять сказал «к лету». Я взяла толстую тетрадь, которую не собиралась покупать, и не посмотрела ему в лицо, когда благодарила: за один день мне уже хватило взгляда на человека, уверенного, что дорога домой начинается в июле. Гена держал дверь, пока я проходила; за стеклом лежала широкая белая улица, и до повети было сорок три шага.

Дома я записала на первой странице: **Гене — пять копеек**.

* * *

К вечеру мне пришлось поставить тетрадь на колени: лежать и писать я не могла, кашель возвращался, стоило опу-

[5] Поветь — крытая хозяйственная пристройка к дому; здесь её крыша выходит к улице.

стить голову ниже плеч. На первой странице было выведено, что я должна Гене пять копеек. Под этой строкой оставалось место для сочинения, но я так и не начала его, пока с кухни не донёсся стук отцовских сапог.

Отец вернулся со склада, положил на лавку газету и вытер руки об тряпку у печи. Два пальца на левой руке обрывались у первого сустава, и за столом он всегда переворачивал газету правой рукой, расправляя левой только углы. Сегодня он не развернул её сразу. Снял рабочую куртку, вынул из внутреннего кармана маленькую жестяную коробку и проверил, целы ли гвозди внутри. Потом поставил коробку на полку у двери.

— На тропе доска ходит, — сказал он бабушке.

Она стояла в передней комнате у окна. Высокую наклонную доску на ножках там не двигали даже летом: свет должен был падать на страницу слева, а бабушка не соглашалась писать при лампе. Она держала перо в правой руке и стояла перед книгой прямо; белые волосы были стянуты на затылке, рукава чёрного платья застёгнуты у запястий. На среднем пальце у неё темнело старое чернильное пятно. Мне казалось, оно не отмывалось даже после бани.



— Закрепи, — сказала она, не оглядываясь.

Отец прижал большим пальцем крышку коробки, хотя та была закрыта. Доска лежала на спуске к воде, ниже клуба. Каждую весну он проходил по ней первым, проверяя, где под снегом размякли края, а позднее возвращался туда в пиджаке и галстуке, придерживая человека за локоть. В последний раз я видела, как они спускались, прошлой весной. На девяти Опоках он спускался туда вместо бабушки; на полке у двери хватало гвоздей и для десятой.

— До выходных, — сказал он.

Бабушка макнула перо, провела последнюю черту и поставила его в деревянный держатель. Днём она почти не прикасалась к помяннику: никто не любил заходить к нам, пока книга лежала открытой. К вечеру дверь запирали, и тогда бабушка могла заняться им без чужих глаз. На листе, который я видела с порога, стоял новый год. Она выводила его медленно, будто цифры могли попасть не в ту строку, если поспешить. Потом закрыла книгу.

Отец снял крышку с чугунка и разлил по мискам щи, прежде чем бабушка села. Он поставил мою миску на привычное место и заметил тетрадь у меня на коленях.

— Хлеб взяла утром?

Я показала ему пустую бумагу от ломтя. Он кивнул и подвинул ко мне ложку. Бабушка посолила щи, попробовала и посолила ещё раз; отец ничего не сказал. Я взяла ещё ломоть

и съела его прежде, чем коснулась ложкой бульона. Гена дал мне пятак, не спросив, на что была нужна тетрадь, и на её первом листе лежало его имя. Оно было рядом с нашими тарелками; я придвинула тетрадь под локоть, чтобы бабушка не увидела запись.

— Пиши после еды, — сказала она.

Я закрыла тетрадь. Отец ел медленно, отламывая от ломтя по маленькому куску, и тихо свистнул тот же короткий такт, который я слышала у двери, у печи и у школьной калитки, если он приходил меня встретить. Бабушка поднялась первой. Она не опиралась на стол, хотя он стоял прямо перед ней, и понесла свою миску к умывальнику.

Мне надо было убрать тетрадь. В передней комнате стоял старый комод, где я держала школьную бумагу отдельно от бабушкиной. Верхний ящик заедал; я потянула его двумя руками и увидела голубой мохеровый шарф под чистыми листами. Мама купила его в Архангельске и ни разу не надела. Он лежал так, что край свисал с пачки бумаги, и я подоткнула его обратно, прежде чем положить сверху тетрадь. С тех пор шарф не покидал этого ящика. Я же ещё ни разу не добиралась одна даже до Карпогор.

Помянник лежал закрытым на бабушкиной доске. Я приподняла переднюю крышку: первый лист оказался старым, неровным у края, и его буквы не походили на те, по которым бабушка учила меня ещё до школы. Я разобрала одно повторяющееся завитое начало, затем второе и не смогла соеди-

нить их даже в слог.

Бабушка вернулась. Она посмотрела не на меня, а на угол листа.

— Отойди от доски, Нина.

Я отошла. Она придержала старую страницу кончиками пальцев и опустила чёрную клеёнчатую крышку. Та легла без звука. Я думала спросить, что она писала до ужина, но и это уже было закрыто.

Отец выглянул из кухни с пустыми мисками. Увидел бабушкину руку на книге, вернулся к столу и взял жестяную коробку с полки, словно только сейчас вспомнил о доске на спуске. Гвозди звякнули. Я могла бы пойти за ним завтра и посмотреть, какую доску он заменит; вместо этого вернулась в свою комнату с пустыми руками. На первой странице тетради оставалось место для сочинения, а имя Гены было написано выше всех остальных слов.

* * *

Утром подушка так и осталась у стены. В субботу я пришла к магазину прежде, чем Люба его открыла. Бабушка дала мне список из трёх вещей, написанный на обороте старой квитанции, и деньги на них. Соль в списке стояла первой, хотя вчера она дважды досаливала щи; спички шли последними. Я не спросила, зачем ещё соль. Если бы спросила, пришлось бы остаться и выслушать ответ, а из-за магазина доносился стук школьной калитки, которую сторож открывал по утрам.

У двери стояли пустые ящики из-под бутылок. Савва Шумов переставлял их к стене, освобождая проход, и один ящик всё время задевал другой. Я сперва увидела только его сапоги: левый каблук был стёрт сильнее правого. Он поднял ящик обеими руками, повернулся боком, и на плече рабочей куртки, у самого шва, я заметила темноту, которой не было на другой стороне. Снег ещё не шёл. Мокрый след держался на ткани там, куда снег и не попал бы.

Я успела дойти до двери, пока он ставил ящик. Он придержал её локтем и назвал меня по имени. Я ответила, глядя на коробки у его ног. Вчера мой голос после двух взглядов ещё долго не становился прежним; сегодня он звучал ровнее, и я хотела сохранить его до первого урока. Люба внутри громко звякала замком кассы. Когда я протиснулась мимо Саввы, влажное плечо оказалось близко к моей щеке. Я задержала дыхание. Горло сжалось сразу, хотя я не вдохнула.

— В субботу зачем так рано? — спросил он.

Я показала квитанцию. Он не стал читать через моё плечо. Поставил последний ящик на место и отошёл, чтобы Люба могла вынести мусорное ведро. Мимо него вошли двое из барака; один похлопал Савву по спине, попросил к вечеру помочь с печной трубой. Савва сказал, что придёт. Человек убрал руку и заговорил о тяге, о саже, о том, как дым вернулся в комнату, будто речь шла с любым соседом, у которого есть лестница и свободное время.

Уроки тянулись медленно. На литературе я открыла но-

вую тетрадь и увидела над чистой строкой вчерашнее «Гене — пять копеек». Сложила страницу пополам, чтобы учительница не приняла запись за начало сочинения. Рита попросила у меня старую тетрадь на воскресенье. Я ответила, что сначала допишу своё. Она надулась, но после перемены положила мне на парту два листа бумаги для черновика. Долг за них я не записала: она бы засмеялась, если бы увидела рядом своё имя и цену листов.

После четвёртого урока я пошла за бабушкиными покупками. У магазина уже вынесли на крыльцо мешок для пустой тары; Люба держала дверь ногой и спорила с Геной, сколько стекла можно уложить в него, прежде чем порвётся дно. Он увидел меня и поднял руку. Я ответила тем же, придерживая под мышкой два листа Риты, и вспомнила о пятаке, которого ещё не было в кармане.

Савва стоял чуть в стороне от крыльца с ящиком в руках. Трубу у барака он обещал посмотреть только к вечеру, но кто-то успел попросить его отвезти тару на склад; вокруг него уже лежали ещё три ящика. На утреннем плече не было тёмного пятна. Я остановилась за дверным косяком, откуда видела ткань целиком. Шов был сух, воротник сух, даже там, где куртка касалась шеи, не темнела нитка. За пять лет я научилась не искать на Савве того, что видела у других: книга называла ему семь, и два года по её счёту ещё оставались. Утром пятно вернулось. К полудню ушло. Так бывает в последнюю зиму.

Я посмотрела снова. Сухо. В апреле.

Савва опустил ящик на настил. Донышко ударилось о доски, Гена обернулся и спросил, не помочь ли ему. Я не расслышала ответа. Воздух входил коротко, будто я уже поднялась бегом по взвозу, хотя до него было далеко. Люба перестала спорить с Геной и взяла меня под локоть тёплой ладонью.

— Нина, ты за солью? — спросила она. — Иди внутрь. На крыльце холодно.

Я прошла мимо Саввы к прилавку. Он не спросил, почему я стояла за косяком. Пока Люба отвешивала соль и отсчитывала спички, он поднимал ящики по одному, всякий раз поворачиваясь ко мне другой стороной. В последний раз он оставил один на земле, хотя на санках для тары ещё было место. Вошёл в магазин, положил на прилавок монету и попросил у Любы гвоздей, каких продают поштучно, самых длинных. Он стоял рядом, но не поднял головы, когда Люба подала мне сдачу.

Я знала, сколько бабушка написала ему в помяннике. Два года назад она показала мне рабочую страницу и заставила сверить фамилии, чтобы я привыкала к почерку, а не к словам с чужого голоса. Тогда строка Саввы показалась мне такой же прочной, как любая другая. Теперь цифра стояла за закрытой крышкой у бабушкиного окна, а человек, к которому она относилась, держал на ладони три железных гвоздя и ждал, пока Люба завернёт их в обрывок газеты.

Он увидел мою руку на прилавке. Я разжимала пальцы по одному: на четвёртом уже не хватило терпения, и пришлось начать заново. Савва убрал гвозди в карман, отвернулся к двери и сказал, что занесёт тару после обеда. Он произнёс это Любе, но она как раз перепроверяла вес соли и не слушала. Я видела его лицо только сбоку. Он видел моё полностью.

Мне ещё нужно было взять бабушкину третью покупку. Она стояла у меня на квитанции между солью и спичками, но буквы расплылись, когда я опустила на них взгляд. Я поднесла бумагу к самому свету, прочла: «мыло» — и попросила у Любы кусок. Та повторила слово без удивления, вынула с полки свёрток и положила рядом со спичками. Если она заметила, что я едва выговорила его, то решила не говорить об этом при Гене.

На улице Савва закреплял ящики верёвкой. Я взяла свою сумку и прошла вдоль стены, чтобы не заставлять его уступать дорогу второй раз. Он потянул верёвку, проверил узел и только тогда сказал:

— Ты к нам придёшь?

— К вам?

— К матери. После школы она дома.

Я хотела спросить, откуда он знает, что мне нужно к его матери. Он не сказал, что ждёт ответа, и не посмотрел на меня; второй конец верёвки всё ещё был у него в руке. Я кивнула. Он затянул узел, взялся за санки и повёл их к складу. Ни одна доска на них не скрипнула сильнее остальных.

* * *

У Шумовых пахло подгоревшим луком и выстиранным бельём. Мария Петровна открыла прежде, чем я успела отряхнуть снег с валенок, и сразу потянулась за моей сумкой. Я переставила её в другую руку: соль тянула вниз, а листы Риты, которые я несла в сумке, мялись под ней. Мария Петровна, небольшая, с тугой седой завивкой, повернула меня за плечи к кухне и указала на лавку, не спрашивая, почему пришла.

На столе стояли четыре тарелки. Одну ещё не наполнили. У печи сушился школьный шарф Вити, свёрнутый жгутом; мальчишка где-то в доме стучал дверцей шкафа и выкрикивал, что пропала его варежка. Мария Петровна ответила, что варежка на нём, и поставила передо мной тарелку с хлебом. Я взяла кусок, потому что она уже нарезала его и ждала, пока моя рука коснётся стола.

— Савва сказал, ты придёшь, — произнесла она, снимая с огня сковороду. — Он после склада домой зайдёт. Ты чай пей, а то губы треснули.

Чай был почти обжигающим. Я обхватила стакан обеими руками и смотрела, как Мария Петровна счищает со сковороды пригоревшее. Она не оглядывалась, но я видела, что движется быстрее обычного: переставила солонку три раза, вытерла уже чистый угол стола, вернула пустую тарелку туда, откуда только что взяла. На четвёртый раз я поставила стакан.

— В книге ему ещё два года, — сказала я.

Она положила лопатку на край печи. Сквозь стену опять донёсся голос Вити; теперь он утверждал, что нашёл чужую варежку и собирается оставить её себе. Мать велела ему сперва посмотреть на руку. Он засмеялся. Она дождалась, пока смех закончится, и повернулась ко мне.

— Ты пришла сказать, что помнишь книгу?

— Там семь. А сейчас пятый год.

Я не называла его срока вслух с тех пор, как мне было двенадцать и я сказала здесь, на этой кухне, другое число. Тогда Мария Петровна стояла у стола почти там же; за дверью кто-то переминался мокрыми сапогами. Я помнила, как она переспросила: «Семь?» — и как я кивнула, потому что кивнуть оказалось легче, чем ещё раз посмотреть на спасённого мальчишку. Савва в тот день вошёл в дом после меня. Кому он успел сказать своё число до того, я не знала.

Мария Петровна взяла чистую ложку, отложила её, взяла другую. На стене над ней висели часы, и между двумя щелчками секундной стрелки я успела увидеть, что у неё дрожит большой палец. Она прижала его к ложке.

— Он утром мокрый, — сказала я. — К обеду высыхает.

— Здесь печь топят с утра.

— Я видела его у магазина.

— Там Люба печь топит ещё раньше.

На этот раз Мария Петровна не положила ложку обратно. Подошла к столу, придвинула пустую тарелку к краю, потом

вернула на место. Савва не ел, но она сохранила для него тарелку, и я не могла смотреть на белый круг перед пустым стулом так же долго, как на её лицо.

— Вчера Дарья поправляла Петину пелёнку, будто ему было холодно, — сказала я. — А у неё печь топилась.

Она резко подняла голову. Я взяла стакан и отпила горячий чай, хотя он обжёг язык. Петю я видела через окно вчера, и говорить о нём здесь не собиралась. В кухне Шумовых его имя стало бы доказательством, а это был ребёнок Дарьи, не довод в нашем споре.

— Не надо про чужих, — сказала Мария Петровна.

Я кивнула. За дверью послышались шаги Вити; он пробежал мимо кухни, выставив перед собой обе варежки, и успел сообщить, что они разные, до того как мать сказала убрать ноги с половика. Снова стало слышно, как ложка касается края сковороды.

— Ты ведь тогда сказала семь, — произнесла она.

— Да.

— Я и передала семь. Мне другого никто не говорил.

Я положила ладони под стол. Спорить с тем, что сказала я сама, было нечем. Пять лет я проходила мимо их дома и повторяла про себя не то, что увидела в первый раз, а то, что бабушка написала. Мария Петровна взяла тряпку и провела ею по сухому столу между нами.

— Он знает? — спросила она.

— Спросил, приду ли я к вам.

— Это не ответ.

— Он видел меня сегодня.

Мария Петровна повесила тряпку на край печи. Из прихожей донёсся стук наружной двери. Савва вошёл с холодом на рукавах, остановился у порога кухни и увидел мой стакан. Я ждала, что он посмотрит на мать. Он посмотрел на стол, где стояла его пустая тарелка, затем на меня. Мария Петровна поставила перед ним хлеб.

— Ты поел?

— На складе.

— Это было утром.

Он взял ломоть, но к тарелке не притронулся. На его плече всё было сухо, сколько бы я ни смотрела на шов из-за своего стакана. После первого взгляда в магазине дыхание ещё не выровнялось; новый оставил во рту привкус холодного железа. Савва заметил, как я отодвинула стакан, и переступил к печи, разворачиваясь от меня спиной. Он не сел. Я поняла, что так легче видеть его руки, чем лицо, и впервые за весь день стало немного проще вдохнуть.

— Я скажу бабушке, — произнесла я.

Савва вытер крошки с пальцев над ладонью. Мария Петровна принесла ему ещё хлеба и положила рядом, не спрашивая. Ни один из них не предложил мне подождать до понедельника.

* * *

Дома бабушка пересчитала сдачу раньше, чем вынула по-

купки из сумки. Она положила монеты на подоконник, сверила с квитанцией и только после этого взяла соль. Я стояла у порога с мокрыми валенками и ждала, когда она заметит, что не ухожу. Отец работал на складе; жестяной коробки на полке не было. В передней комнате лежала светлая полоска из окна, и бабушкина доска стояла в ней целиком.

— От Шумовых идёшь, — сказала она.

Я ещё не сказала, что ходила к ним. В доме, где из окна видели дорогу вниз, скрыть такой путь было трудно. Бабушка положила соль на подоконник, убрала мыло в шкаф, поставила спички рядом с лампой и вернулась к доске. Книгу она не открывала.

— Савва заканчивает в этот ледоход. Надо исправить запись.

Она поправила угол чёрной клеёнки. Я услышала, как по дереву скользнул её ноготь.

— У него написан другой год, — сказала она.

— Я знаю, что написано. Сегодня утром на нём ещё была вода. К полудню её не осталось.

Бабушка посмотрела на моё лицо. Раньше она замечала цену сразу и ставила передо мной горячий чай, не спрашивая, на кого я смотрела. Сегодня чайник уже был на плите, но она не сделала к нему ни шага.

— Ты зимой болеешь, — сказала она.

— Это не кашель написал ему семь.

Она провела ладонью по клеёнке и не ответила. Я обошла

стол так, чтобы видеть рабочий край книги, если она откроет её; бабушка отодвинулась на полшага и осталась перед доской. Её рука лежала поверх застёжки. Я могла дотянуться до книги, но для этого пришлось бы взять её за запястье.

— Ты учила меня сверять, — сказала я. — Если число не то, его исправляют.

— Что написано пером, не вырубишь топором, — произнесла бабушка.

Она сказала это ровно, будто речь шла о том, как переписывают школьную тетрадь. Я вспомнила, как вчера видела старый первый лист под передней крышкой, и невольно перевела взгляд туда. Бабушка проследила за ним и закрыла ладонью край книги.

— Я не прошу отдать её мне, — сказала я. — Открой сама. Сверь сама.

— С чем?

— С тем, что на нём осталось.

— Что написано пером, не вырубишь топором.

Мне пришлось взяться за спинку стула. Перед бабушкой стояла та самая книга, ради которой из года в год на опоку поднимались люди с нижних улиц; всё, что я видела на Савве, в комнате не оставило ни пятна, ни мокрого следа. Бабушка держала страницу закрытой, и я не знала, выбирает ли она между двумя числами или уже выбрала раньше, когда одно из них записала. Она не дала мне увидеть даже строку.

— Я сказала Марии Петровне, — произнесла я.

Бабушкина рука не сдвинулась. За окном школьный сторож шёл к клубу с пешнёй на плече; её железный конец оставлял на снегу короткую тень, пока он поднимался по взвозу. Я смотрела за ним, чтобы не видеть, как бабушка снова берёт перо. Она его не взяла.

— Соль убери, — сказала она. — На подоконнике отсыреет.

Я переложила пакет в шкаф. Монеты на подоконнике уже лежали отдельно, разложенные по величине. Бабушка сняла книгу с доски и унесла в свою комнату. На втором шаге она задержалась, чтобы поправить клеёнку; на двенадцатом за стеной щёлкнула дверь. Я села на кровать, подложила под спину подушку и раскрыла тетрадь. Под строкой «Гене — пять копеек» я написала: «Савва Шумов. 1982». На восьмёрке рука дрогнула, карандаш оставил вторую петлю. Я не стала стирать её.

ГЛАВА 2

На первом дополнительном занятии Алла Борисовна велела нам написать о месте, куда мы хотели бы вернуться. Рита сразу спросила, можно ли писать о море, если ни разу его не видела. Учительница сказала: «Можно, если ты сумеешь объяснить, почему возвращаешься туда, где не была». Рита засмеялась и быстро нагнулась к листу. Я написала название нашей станции, зачеркнула и оставила верхнюю строку пустой. Вернуться я пока никуда не могла: до Карпогор не добралась, а из Неми не уезжала.

После занятия школьные окна уже темнели. Я сложила сочинение между листами Риты, чтобы не измять, и пошла на нижний склад: отец утром забыл рабочие рукавицы, те, в которых удобнее держать гвозди. Одна была зашита у основания большого пальца ниткой другого цвета; вторую он давно собирался зашить и всякий раз надевал так, чтобы дырка пришлась на ладонь. Бабушка не стала бы относить их сама. Она стояла у доски, когда я выходила, и не спросила, зачем я взяла обе.

На складе снег чернел между штабелями. Брёвна лежали поперёк деревянных прокладок, уложенные выше головы, и у каждого ряда на торце мелом стояли цифры. Я могла бы дойти до отца, не поднимая глаз: он работал ближе к навесу, где молоток стучал ровно, с коротким перерывом после каж-

дого третьего удара. Вдоль штабеля шёл Коля Шумов, ведя трактор задним ходом. Он высунулся из кабины и крикнул кому-то отойти от гусеницы. Человек в серой куртке шагнул к брёвнам, уступая дорогу машине.

Нижнее бревно двинулось не сразу. Сначала из-под прокладки вышел деревянный клин, и я успела подумать, что его потом долго придётся искать в снегу. Коля затормозил; трактор ещё качнулся на месте. Человек в серой куртке стоял между машиной и торцом штабеля, смотрел на свои валенки и не видел, как брёвна поверх него начали оседать к краю.

Савва появился из-за навеса с багром[6] в руках. Он не крикнул человеку бежать: тот всё равно не успел бы выбраться между трактором и первым катившимся бревном. Савва загнал стальной конец багра под торец, упёр древко в край настила и навалился плечом. Дерево перестало идти вниз, но прокладка под верхним рядом треснула, и стало видно, что удерживает он не один ствол. Коля выпрыгнул из кабины, схватил рабочего за ворот и выдернул в сторону. Отец с двумя мужчинами уже тащил новый клин; они забили его под бревно, не дожидаясь, пока Савва отпустит багор.

Тогда все заговорили разом: кому стоять у прокладки, кто должен был заметить клин, надо ли отогнать трактор ещё на шаг. Савва по-прежнему держал древко. Отец велел ему отойти, потому что клин вошёл до конца. Савва разжал паль-

---

[6] Багор — длинный шест с металлическим остриём и крюком на конце; им подцепляют брёвна при сплаве.

цы и посмотрел на их отпечатки в дереве; крюк ещё какое-то время дрожал там, где его оставили. Он не согнулся, не упёрся ладонями в колени, не попросил передать ему рукавицы. Рабочий в серой куртке побелел до бровей и тёр воротник в том месте, за которое Коля его схватил.

Я прошла мимо Коли к навесу и подала отцу рукавицы. Он надел зашитую, а вторую оставил на ладони, глядя, куда пришлась дырка. На складе уже снова работали, и никто не спрашивал, испугался ли рабочий. Отец вынул из кармана короткий гвоздь, проверил остриё и спрятал обратно. Савва за моей спиной поднял багор, отнёс к стене и поставил крюком вниз. Если бы я повернулась, увидела бы его лицо; я следила за тем, как отец затягивает ремешок рукавицы на запястье.

— Иди домой до темноты, — сказал отец.

Я показала ему сложенные листы сочинения. Он не стал спрашивать, что на них написано. Положил ладонь мне на макушку, чуть сдвинул шапку и вернулся к настилу. У школьных дверей он всегда делал то же самое, если приходил меня встретить. Я поправила шапку и пошла между штабелями, обходя место, где из снега торчал выбитый клин.

Вечером Рита забежала за тетрадью и осталась ужинать, потому что бабушка налила ей щей раньше, чем она успела отказаться. Рита читала моё сочинение, держа ложку в другой руке, и сказала, что о станции писать нельзя: это не место, куда возвращаются, если ещё не купили билет. Я отве-

тила, что название зачеркнула. Она предложила написать о школе, потом сама поморщилась и попросила хлеба. Бабушка отрезала ей ещё кусок, не спрашивая, сколько она уже съела.

После ужина Рита переписала свой первый абзац про море на чистый лист и спросила, можно ли ей оставить тетрадь. Я отдала её на несколько дней, вынув перед этим лист с именем Саввы. Рита заметила мою руку, но не стала просить показать, что я прячу. Она заколола волосы у виска, где завивка за день распалась, и ушла по взвозу с тетрадью под пальто. Мне предстояло написать о месте, в которое можно вернуться. Я положила её два листа на стол и просидела над пустой строкой, пока отец не загасил свет на кухне.

* * *

Через несколько дней я увидела мальчика на льду у старого спуска. С берега казалось, что он стоит там по собственному желанию: в руках у него была длинная палка, которой он подталкивал к берегу сбежавшую санку. Но санка уже лежала у ног, а мальчик, нагнувшись за ней, не решался выпрямиться. Под снегом вокруг его валенок проступила тёмная полоса. Лёд у берега держался хуже, чем на середине, где его каждую зиму били пешнёй рыбаки.

Я шла домой со школьной сумкой и сначала считала расстояние от ступеньки до первой береговой доски: если мальчик оттолкнётся палкой, до доски он достанет. Санка мешала ему переставить ноги. Он посмотрел на меня, и я уже от-

крыла рот, чтобы велеть оставить её, когда с дороги сбежал Савва. У него не было ни верёвки, ни длинного шеста. Он снял куртку, бросил мне и вышел на лёд, не проверяя его палкой. Я прижала куртку к себе: он оставил меня с ней, как будто вернуться за ней было так же просто, как за санкой.

Мальчик потянулся к нему обеими руками. Тонкая корка у его ног разошлась и сразу стала чёрной; Савва успел схватить его за ворот, прежде чем тот провалился глубже колена. Палка уплыла под край льда. Я держала Саввину куртку обеими руками. Он шёл обратно, поднимая мальчика за куртку так высоко, что его валенки оставляли на льду только короткие полосы. У берега он передал мне санку, вытолкнул мальчика на доску и вышел следом.

Мать мальчика прибежала из нижних домов с одной непокрытой рукой и набросила ему на голову свой платок. Он трясся и плакал не от боли, а от того, что пытался объяснить про санку, которая была у меня. Я поставила её на доски. Савва поднял санку и поставил прямо перед ним. Он уже протянул руку за своей курткой, когда мальчик сказал, что завтра снова поедет здесь: так короче к клубу. Савва схватил его за плечи.

Он не повысил голоса. Сказал только: «Нет». Руки у него были большими, и пальцы почти сомкнулись у мальчика на спине. Тот перестал объяснять, открыл рот и уставился на него. Савва разжал пальцы сразу, но не убрал руки; держал их перед собой, будто на ладонях осталось то, чего никто

другой не видел. Мать увела сына вверх, прижимая к себе мокрый воротник. Санку она забрала за верёвку. На досках остались две полоски воды от его валенок.

Я протянула Савве куртку. Он взял её, не касаясь моих пальцев, и посмотрел на свою правую ладонь. Там не было ничего нового: старый розовый край у запястья оставался под рукавом, пальцы сгибались как прежде. Он сжал ладонь, разжал и отвернулся к дороге. Я ждала, пока он скажет о мальчике, о матери или хотя бы о санке. Савва надел куртку и спросил, далеко ли мне идти.

— До дома, — ответила я.

Он кивнул и пошёл рядом до поворота на взвоз. Там дорога сужалась, и мне пришлось пропустить его вперёд. Утром я бы узнала его по тяжёлым шагам и не подняла глаз; теперь считала, сколько раз он открывает и закрывает правую ладонь, пока не спрятал её в карман. Он сделал это ещё до клуба. Я дошла до нашего двора и не смогла вспомнить, когда перестала следить за его сапогами.

Савва

Мать поставила на стол миску, из которой я не ел. Пока она ходила за Витей, я вылил остывшие щи в ведро и сполоснул миску. От неё пахло луком; от моих рук — жестью. Если оставить посуду в раковине, утром мать скажет, что опять пришлось делать всё самой. Если убрать, она спросит, ел ли я. Я поставил миску на полку и закрыл дверцу так, чтобы стекло не звякнуло.

Витя принёс свою санку с оборванной верёвкой. Она стояла под сараем с начала зимы; за это время на полозе появилась новая зарубка. Он сказал, что мне легче её починить, потому что у меня есть инструменты. Верёвка не порвалась — она вышла из отверстия, которое от долгого трения стало гладким. Я показал Вите, где хранится шило. Он сразу достал не то и настаивал, что им удобнее. Я забрал у него шило за рукоять, чтобы он не порезал палец, просверлил рядом новое отверстие и протянул конец верёвки. Завязал узел, который не затягивается на сыром дереве. Витя дёрнул так сильно, что санка стукнула меня по ноге.

— Теперь не выскочит? — спросил он.

— Не выскочит.

Он понёс санку к двери, волоча один полоз по полу. Мать велела поставить её снаружи. Витя сказал, что завтра покатается; потом спросил, почему я так долго чинил один узел.

Я не ответил. В новом отверстии осталась стружка, и я снял её ногтем, прежде чем убрать шило.

Коля пришёл поздно. Я слышал, как он снял сапоги на кухне и спросил у матери, не помогал ли я опять на складе за чужую смену. Она сказала, что я приходил домой вовремя. Это было правдой. На складе просили перенести багры, у магазина — отвезти ящики, в бараке — посмотреть трубу. За каждое дело благодарили отдельно. На бумаге ни одно не было моим.

Когда дом улёгся, я открыл дверь комнаты, где всё ещё стояла моя «Комета», и проверил, лежит ли коробка с лентами на полке. Витя опять брал одну катушку: она была поставлена лицом к стене. Я повернул её обратно. Внизу на крючке висела Колина рабочая куртка. Отец оставался у запани[7] и вернётся в воскресенье. Я мог дождаться его на кухне, когда он приедет, но утром первым делом вынесу Витину санку из сарая. Узел был прочнее прежнего.

* * *

На следующий день Рита вернула мне тетрадь, не дожидаясь звонка. Между последним сочинением и задней обложкой она сунула лист с адресом училища, который переписала у Аллы Борисовны. Я спросила, куда собирается она сама. Рита сказала, что в школе ещё не повесили расписание выпускных экзаменов и раньше времени загадывать глупо. При

[7] Запань — плавучее заграждение на реке, где задерживают и сортируют сплавляемый лес.

этом она поправила прядь над правым ухом и посмотрела не на меня, а в коридор. Я оставила её ответ в покое, как она оставила мой лист с именем Саввы.

На улице было светло даже под вечер. Я шла к дому через старый спуск и считала щели между досками настила. Савва догнал меня у магазина, волоча за верёвку Витину санку. На полозе появилась свежая светлая царапина: Витя, видно, уже проверил починку. Савва остановился, чтобы уступить мне место на узкой части дороги, и я поняла, что он ждёт, пока я пройду мимо, не поднимая глаз.

— Тебе ниже? — спросила я.

— К Шумовым.

— Ты и есть Шумов.

Он глянул на меня. Я не знала, зачем сказала это: так отвечала Рита, когда хотела задержать кого-нибудь на два слова, но у меня её быстроты не было. Савва потянул санку ближе к обочине. Верёвка заскользила по моему валенку, и я придержала полоз, чтобы он не ударил по ноге. Пальцы задели его рукав. Холод от ткани был обычным; от него не стало труднее дышать.

— Вите, — уточнил он. — Бросил её у школы и убежал домой.

Я показала лист, торчавший из тетради. На нём были чужие буквы, ровные и крупные, а внизу Ритина приписка: «Узнай про общежитие». Савва смотрел на бумагу, пока я не сложила её пополам. Он не спросил, подала ли я заявление.

Я не сказала, что не подала.

— Нам велели написать о месте, куда мы хотим вернуться, — сказала я. — Я опять оставила пустую строку.

— О каком месте думала?

— О станции.

— Ты на ней не была.

Я кивнула. В этом он был прав тем же неприятным способом, каким бывает права тетрадная строка: на бумаге можно написать название города, но нельзя вернуться из поездки, которой ещё не было. Савва не стал предлагать другое место. Он подтянул санку за верёвку и оглянулся на дорогу вниз. Я видела только, как уверенно он поставил сапог на скользкую доску.

— Ты знаешь дорогу, — сказал он наконец. — Её и пиши.

— Дорогу до школы?

— Ту, с которой начинаешь.

Он не стал спрашивать, сколько там шагов. Я могла бы назвать четыреста шесть, а потом четыреста семьдесят три, если обходить магазин, и объяснить, почему второе число появилось в день, когда я увидела Петю. Вместо этого сказала, что учительнице нужна не дорога, а место. Савва кивнул и снова потянул санку. На повороте он поднял руку, освобождая верёвку от сучка. Манжета съехала; внутренний шов, на котором я помнила сырой след прошлых зим, теперь был сухим, как и кожа под ним. Я отвела глаза не сразу.

Голос сел на следующем слове. Я произнесла «подожди»,

потому что санка опять налетела на колею, и пришлось повторить тише. Савва повернул голову ровно настолько, чтобы увидеть мои губы; потом снял рукав с щепки и пошёл впереди меня, ставя санку между нами. На повороте к его дому он остановился.

— Напиши, — сказал он.

— О дороге?

— Про то, что знаешь.

Я пошла вверх одна. На школьном листе в тетради оставалось свободное место, и вечером я записала первый абзац: про склон, который полозья саней каждый день сдирают до льда. Имя Саввы на предыдущей странице я прикрыла ладонью, пока писала. Это не помогло сделать новую строку прямее, но я дописала её до конца.

* * *

Через неделю отец вернулся не в одиночку. За ним поднялись двое с нижнего склада, которых я видела у леса только издалека: они ставили вешки[8] на новом участке рубки вверх по Немше и обычно возвращались, когда школьники уже расходились. Сегодня один нёс свёрнутую карту, другой — короткую лопату с глиной по краю. Снег у них на плечах таял быстро. Отец пропустил обоих в переднюю комнату, снял шапку и сам остался у двери.

Бабушка не предложила им сесть. Она поправила клеён-

[8] Вешка — тонкий шест или ветка, которыми отмечают путь либо границу участка.

ку на книге и велела показать, откуда именно они пришли. Мужчина с картой развернул её на краю стола, придавил углы ладонями и ткнул пальцем в изгиб речки, дальше которого зимой редко ходили. Там была пещера. Я знала её по школьной карте, а не по дороге: до неё надо было идти мимо последней вешки, затем вверх по мелкой воде, если лето, или по снегу над ней, если зима. На этот раз бригаду послали размечать рубку у самого изгиба.

— Следы от пещеры, — сказал тот, у кого была лопата. — Человеческие. Без обуви.

— Митроша, — произнёс отец.

Мужчина покачал головой. Митрошу знали по старому рассказу и по тому, где он держался, а того, что вышло из-за камня, никто из них не смог назвать человеком, которого видел раньше. Один рабочий бросил вешку и побежал к тракторной дороге; двое остались смотреть. Мужчина с лопатой показал, как фигура шла по снегу: неторопливо, вынося ноги из глины, будто та липла к одежде, которой на ней не было. Там, где у человека должны быть лицо и ворот, он различил прилипшие листья и речной сор. Лопату никто в неё не бросал. Рабочие вернулись вместе с картой и лопатой.

Я попросила показать след на лопате. На железе глина была такой же, как у любого весеннего обрыва: серая, с песком. Рабочий сказал, что зачерпнул её возле входа в пещеру, где отпечатки уходили к воде. Он разжал ладонь над картой и показал расстояние между двумя следами: подошвы не было,

только передняя часть ступни и глубокая ямка под пяткой. Второй рабочий поправил его: ямка была с наружной стороны. Они спорили о форме, которую оба видели утром; отец держал карту, чтобы их руки не сдвинули отмеченные вешки. Лопата не могла подтвердить рассказ лучше, чем люди, которые не соглашались друг с другом. Я смотрела на изгиб Немши и пыталась вспомнить, чья строка в помяннике могла бы оказаться так далеко от дома.

— Сухой? — спросил мужчина с картой.

Бабушка не ответила ему. Пальцем она закрыла на карте место, где река поворачивала обратно к посёлку, и велела оставить лопату за дверью. Отец вынес её сам. Я знала три имени тех, кого в Неми заложили и кто всё-таки встал: Митроша, Груня, Пашка. У каждого была улица или дом, год и кто-нибудь, кто ещё помнил, как его звали при жизни. Мужчины не принесли ни одного имени.

— Там до этой зимы никто не ставил вешек? — спросила я отца.

— Не было рубки, — ответил он. — Лапин послал их первый раз.

Он указал на белый участок карты без прежних отметок. В прошлые зимы люди доходили до нижнего поворота Немши и возвращались по дороге; выше была пещера, о которой рассказывали школьникам, а не место работы. Теперь в лесопункте выделили новую полосу, и трое мужчин дошли туда с вешками раньше, чем кто-нибудь успел составить для них

старый рассказ. Если бы они вернулись с именем, бабушка нашла бы строку, даже не поднимая крышки при нас. Я ждала, не произнесёт ли она его вместо рабочих. Она смотрела на карту.

— Митроша выше ходит, — сказал отец, вернувшись. — Может, его на расстоянии не узнали.

— Увидите второй раз — тогда назовёте, — сказала бабушка.

Она свернула карту по тем же сгибам и отдала мужчине, как будто этим можно было вернуть ему обычный рабочий день. На её чёрной клеёнке не осталось глины. Один из мужчин поставил лопату под навес, другой пообещал доложить Лапину до вечера. Отец взял у них шапки, подал обратно и проводил к калитке. Я осталась у окна и видела, как они спускаются по взвозу: оба держались середины дороги, хотя по краям снег был твёрже.

Позже пришёл Пинягин. Он снял шапку на пороге, не дожидаясь бабушкиного разрешения, и выслушал те же слова, уже без карты. Записал место, откуда бригада вернулась, на клочке из блокнота; в строке для имени оставил пробел. Потом попросил отца пройти с ним на нижний склад: там можно было найти третьего рабочего и записать его рассказ отдельно. Оба вышли, не тронув ужин. Я могла назвать Пинягину три имени по памяти, но он их знал без меня. Четвёртому я не находила даже пустой строки.

* * *

Утром бабушка положила на стол помянник, но не раскрыла. Из-под книги торчал угол вчерашней карты. Я спросила, отдаст ли она её Лапину. Бабушка развернула лист, поставила ноготь на изгиб Немши и провела им вниз, к первому дому. Потом сложила карту по чужим сгибам.

— Если там поставят вешки, рабочих пошлют за лесом, — сказала я.

— Пошлют.

Она велела мне идти в школу и передать отцу, что карту можно забрать в воскресенье. Я взяла сумку. На крыльце пришлось остановиться, чтобы выкашлять воздух, которого там утром хватало. Вчера я никого не читала; горло саднило от холода, и я знала разницу.

После уроков я зашла в сельсовет за чистым листом для сочинения. Шульгина выдала два; на обороте одного проступала старая запись карандашом, и она забрала его обратно. Я спросила, сообщили ли ей о том, кого видели у пещеры. Она сказала, что в бумаге Лапина записаны следы, а не человек. Пинягин стоял у окна с блокнотом и не обернулся.

— Рабочие его видели, — сказала я.

— Пусть каждый отдельно запишет, что именно, — ответила Шульгина. — Тогда сравним.

Так она говорила и о потерянном грузе, и о человеке, который не пришёл на смену. Пинягин оторвал лист, положил в блокнот и вышел вслед за мной. На улице он спросил, будет ли отец вечером на складе. Я сказала, что не знаю. Он

кивнул и пошёл к мотоциклу под навесом сельсовета. В коляске лежали брезент и мешок с инструментами; Пинягин подтянул ремень на мешке, прежде чем завести мотор.

Я понесла лист домой, не сложив его. На нижней улице дымилась труба дома, к окну которого каждую весну приходила Груня. После её смерти жильцы сменились; к дому пристроили комнату, а старое окно осталось. Под ним ставили ящик с дровами. К стеклу приходилось обходить ящик боком, и местные дети знали, что оставлять там санки не стоит. Я посмотрела на окно потому, что в нём отражалось солнце: по его краю можно было определить, успею ли домой засветло.

У калитки стояла девочка в школьном пальто. Она держала варежку и стучала свободной рукой: дверь с крыльца заперли. Изнутри показалась женщина, что-то сказала через стекло и отошла. Девочка попятилась, освобождая ей дорогу к двери. Тогда из-за дровяного ящика вышла Груня.

Я узнала её по дороге к окну. Лица её мне знать было неоткуда: она утонула раньше, чем родился отец. На ней висело платье неопределённого тёмного цвета; из рукавов торчали локти. При каждом шаге в её колене сухо скрипело, как в рассохшейся лодке. Она смотрела на раму, не на девочку. Девочка обернулась на звук и отступила не к двери, а к ящику.

— Иди на крыльцо, — сказала я.

Она не послушалась. Я положила лист на забор, откры-

ла калитку и повторила громче. Изнутри повернули ключ. В конце улицы заглох мотоцикл: Пинягин возвращался от склада. Он вошёл во двор, оттеснил девочку к двери и встал между ней и Груней. Женщина приоткрыла дверь, девочка втиснулась внутрь. Груня продолжала идти к окну. Пинягин сместился так, чтобы за её плечом был сарай, а не дом. Достал пистолет и дождался, пока дверь закроется.

Груня подняла руку к раме. Выстрел был так близко, что я сначала услышала, как звякнуло стекло. Оно осталось целым. На плече Груни открылась тёмная прореха; рука не опустилась. Она коснулась старой краски под стеклом и провела пальцами до нового дерева, которым заменили сгнивший край. Пинягин всё ещё держал пистолет прямо перед собой. За дверью девочка заплакала. Груня убрала руку и пошла мимо него, к калитке.

Он выждал, пока она вышла на улицу, опустил пистолет и вернул его в кобуру. Я сняла с забора лист: ветер уже завернул край под доску. Женщина открыла дверь. Пинягин проверил, не порезались ли они о стекло, и попросил назвать себя для записи. Девочка показала ему обе руки. Груня скрылась за соседним сараем. Она не взяла дров и не заглянула в дом. Окно было тем же, к которому она приходила год за годом; люди за ним давно стали другими.

Отец вернулся раньше обычного. Я рассказала про Груню у окна, пока он снимал рукавицы. Одна зацепилась за большой палец: незашитая дырка стала шире. Он освобо-

дил палец, повесил рукавицы сушиться и спросил, где стояла девочка. Я показала на обороте магазинного чека калитку, дверь и ящик. Он поставил точку у окна, проверил, сколько от неё до крыльца, и отложил карандаш.

— Она к стеклу шла, — сказала я.

— Знаю.

Он не назвал другую фигуру у пещеры Груней. От дома до верхнего изгиба Немши было слишком далеко для их обычной дороги; и те рабочие видели глину, не платье. Но пока бабушка не открывала помянник, мне не с чем было сравнить их рассказ. За ужином отец говорил о брёвнах, которые Лапин хотел вывести до ледохода, и спросил, когда забирать карту. Бабушка ответила: «В воскресенье». Я ела медленно. Каждый раз, поднимая глаза, видела закрытую книгу на её доске.

Бабушка вынула карту из-под помянника. Отец достал из кармана обрывок упаковочной бумаги и положил рядом. На обрывке было достаточно места для дороги от склада до верхнего поворота, но не для всех отметок у оврага. Он попросил бабушку перенести хотя бы вешки: рабочие пойдут туда с пилой, а Пинягин не успеет проводить каждого. Бабушка придвинула к себе карту и посмотрела, где у неё кончался карандашный след. Отец ждал, не протягивая руки через стол.

— Отметь вешки, — сказала она.

— Иначе зайдут к оврагу.

Бабушка взяла его обрывок, начертила изгиб Немши и поставила две вешки у места, где тропа расходилась. Третью, ближайшую к старому спуску, отец добавил сам: её он утром вбил в землю. У бабушкиной линии и его точки был разный нажим. Он сложил бумагу так, чтобы отметки оставались снаружи, и убрал в нагрудный карман.

Карту бабушка вернула под помянник. Утром отец мог предупредить рабочих, не показывая им её листов, а она могла не выпускать из рук то, что собиралась сверять сама. Мне не нравилось, что для этого понадобились две бумаги. Я всё же запомнила, по какой стороне от третьей вешки он велел идти.

Третьего марта Алла Борисовна вернула сочинение. Вверху она написала: «Здесь есть путь, но пока нет места, куда ты вернулась бы». Я прочитала замечание два раза и вложила лист в тетрадь. Рита заглянула через моё плечо. Она сказала, что её море оказалось списано с картинки в кабинете географии, и спросила, буду ли я переписывать. Потом заговорила о сроках приёма в училище, как будто спрашивала только для меня. Из кармана её пальто торчал сложенный конверт. Я не попросила показать адрес.

На большой перемене Витя Шумов принёс в столовую мешочек с железками. Мария отобрала его, прежде чем он высыпал содержимое между мисками. Заметила дырку на его варежке и, не отпуская поварёшки, велела зайти домой за целой. Витя возразил, что дырка маленькая. Мария назвала

его по полному имени и отправила доедать суп. Он сел рядом со мной и показал через ткань, где спрятан винт от школьного звонка, который ему обещали отдать после ремонта. Я не спросила, помнит ли он, какой сегодня день.

Я помнила: третьего марта родился Савва. Год окончания в бабушкиной книге стоял другой, но день рождения не изменился от того, что его туда вписали. Сегодня ему исполнилось двадцать два. Если бы я встретила его у магазина, то увидела бы семнадцатилетнего парня с тяжёлыми плечами, короткими волосами и слишком большими ладонями. Это можно было знать, не глядя на затылок.

После школы я задержалась у столовой, пока Мария закончила раздавать обед. Хотела спросить у неё о Савве что-нибудь обычное, например, умеет ли он чинить школьный звонок. Она вышла с пустой кастрюлей, придерживая её бедром, и попросила пропустить. Я отступила. Мария сказала, что Витя опять потерял ключ от сарая и ей придётся оставить дверь на верёвке. О дате она не сказала ничего. Я тоже не сказала.

У дома Шумовых Витя шарил в снегу возле крыльца. Коля менял на его санке полоз и ругался на короткие гвозди. Савва стоял у сарая с целым ключом в руке. Он отдал его Вите, когда тот поднял голову, и вернулся к двери, не посмотрев на меня. Снег на крыше удержался после вчерашнего ветра. Я остановилась у калитки, будто проверяла, какой из двух полозьев Коля закончит первым.

Витя приложил ключ к замку, не поворачивая, и спросил, можно ли взять длинную доску. Коля сказал, что доска нужна ему. Они спорили об одной доске, хотя в сарае стояли ещё три. Савва снова вышел, открыл дверь и подал Коле нужную концом вперёд. Витя забрал мешочек с железками и побежал в дом. Никто не произнёс слова, которого ждали бы от них в другой семье третьего марта. Савва следил за доской, пока не заметил меня у калитки.

— Нина, — сказал он.

Я подняла тетрадь, словно она объясняла, зачем стою здесь. Можно было сказать ему, что сочинение вернули и что я написала про дорогу, как он велел. Коля попросил шило. Савва повернулся к брату, и я пошла дальше. Дома я вынула лист с учительской правкой и дописала внизу одно предложение о нашем спуске: по нему можно вернуться к дому, даже если всю дорогу смотришь себе под ноги.

Савва

Коля принёс полоз после ужина и попросил придержать, пока он забьёт гвоздь. Доску мы выбрали днём, но у печи она подсохла и выгнулась, перестала ложиться в паз. Я взял рубанок и снял тонкую стружку с внутренней стороны. Коля сказал, что теперь его смена, а санка моя. Я отдал ему рубанок. Он поставил лезвие на полку, не коснувшись пальцем края, и сам прибил полоз.

Мать убрала со стола мою чистую тарелку вместе с остальными. Витя пролил на скатерть сладкий чай; пятно накрыло место, где тарелка стояла. Мать велела ему взять тряпку и пошла развешивать бельё. Он вытер середину пятна, края оставил мне. Я сполоснул тряпку и протёр стол до сухого дерева. За дверью Коля проверял санку на крыльце. Утром Витя потащит её в школу, и полоз опять треснет, если он поедет по голым ступеням. Я отнёс санку в сарай и поставил так, чтобы сначала пришлось поднять её, а не волочить.

В комнате на полке лежала коробка с лентами. Я снял крышку, нашёл катушку, которую Витя переставил на прошлой неделе, и вернул на место. Из кухни мать позвала его мыться. Коля спросил через дверь, где оставить молоток. Я ответил: «Под верстак». Когда все разошлись, я лёг поверх одеяла. Из соседней комнаты было слышно, как Витя перечисляет матери вещи, которые завтра возьмёт в школу. Он

дошёл до санки и снова начал сначала.

ГЛАВА 3

Девятого марта я понесла Савве исправленное сочинение. Алла Борисовна требовала переписать его к ближайшей пятнице; на полях хватало замечаний, чтобы она могла выставить отметку и не читать мой новый вариант. Я всё равно переписала. В старом листе дорога начиналась от школьных ворот. В новом — от нашего крыльца, где отец каждое утро сбивал ногой намерзший лёд, чтобы бабушка могла спуститься к колодцу. Я не знала, зачем Савве это показывать. Он видел дорогу лучше меня и ничего не просил.

У Шумовых Мария Петровна уже ушла в столовую, а Коля — на склад. Витя открыл дверь с куском хлеба в руке, сообщил, что от его санки снова отлетел полоз, и побежал во двор искать гвозди. Он оставил дверь открытой. В кухне Савва стоял у окна с кружкой, которую не подносил ко рту. Дверь его комнаты осталась приоткрытой; на кровати было смято одеяло. На столе лежали нож и короткая верёвка, разрезанная надвое; я не спросила, чью вещь он теперь чинил.

— Я написала, — сказала я и достала лист.

Он положил кружку на подоконник. Пока читал, я смотрела на следы Витиных мокрых валенок у порога. Савва перевернул страницу; на обороте была только учительская правка, оставшаяся от первого варианта. Он не спросил, почему я принесла оба листа.

— Здесь про ваш дом, — сказал он.

— Про дорогу к нему.

— Дверь тоже там.

Я хотела объяснить, что Алла Борисовна исправила именно это: нельзя вернуться к одному склону, если никогда не дошёл до места за ним. Вместо объяснения взяла с края стола вторую половину верёвки и расправила тугой узел. За окном Витя спорил с кем-то, что гвозди из школы ничуть не хуже покупных. Савва прочитал последний абзац и оставил лист перед собой.

— Можно? — спросил он, указывая на стул.

Я отодвинула школьную сумку. Он сел. Не на край и не вполоборота, как человек, который сейчас встанет, а прямо напротив меня, прижав сочинение ладонью к столу. В комнате был ещё свободный стул. Я могла сесть на него и разговаривать о том, что написала. Осталась стоять, потому что заметила, как он не отвёл от меня лица.

На ладони, прижавшей сочинение к столу, между большим и указательным пальцами держалась узкая влажная черта. Он только встал с постели; пока я смотрела, черта истончилась и исчезла. Раньше после вставания вода оставалась на нём дольше. Я знала, что исчезло не от тепла кухни.

— Исправлять больше не надо, — сказал Савва.

Я ответила, но услышала только первый слог. На втором голос опустился и зашершавел. Савва сложил лист ровно по старому сгибу и положил на стол ближе ко мне. Он не спро-

сил, что произошло с моим горлом. Повернул голову к окну, давая мне время убрать лист в сумку, но со стула не встал.

Витя вбежал с тремя разными гвоздями и высыпал их возле ножа. Он хотел узнать, можно ли вбить один вместо двух; Савва сказал, что полоз опять отойдёт. Тогда Витя попросил его показать, как сделать правильно, и впервые за всё время посмотрел на брата, сидевшего за столом. На лице у него ничего не изменилось. Савва взял верёвку и связал ею гвозди, чтобы мальчик не потерял их по дороге к сараю. Я сказала, что опаздываю на урок, и вышла, не поднимая глаз.

На улице я пыталась повторить его слова про сочинение. Они были точными: исправлять больше не надо. Я дошла до школы, не произнося их вслух, и на первом уроке отвечала так тихо, что Алла Борисовна подошла к моей парте. Она положила руку на край тетради, посмотрела на исправленный лист и велела дочитать после перемены. Я кивнула. Под рукой у неё была та самая строка про дверь, за которой можно оказаться после долгой дороги.

После перемены Алла Борисовна протянула мне лист. Я поднялась, но в горле снова застряло первое слово. Рита повернулась на соседнем стуле и спросила, можно ли ей читать вместо меня. Учительница посмотрела на мою открытую тетрадь, на Ритину руку и кивнула. Рита читала быстро, как говорила всегда, только у места про наше крыльцо замедлилась. В последнем ряду кто-то зашуршал газетой; остальные слушали дорогу, по которой сами ходили каждое утро, и

не узнавали её, пока Рита не дошла до школьных ворот. После звонка она вернула лист, разгладив угол ладонью. «Нормально», — сказала она, будто я просила оценку. Я хотела поблагодарить, но голос ещё оставался низким, и она не стала ждать ответа.

К вечеру горло отпустило, но кашель вернулся, когда я села за домашнюю работу. Отец принёс сухие дрова, положил у печи и спросил, достаточно ли мне света. Я ответила, что достаточно. Он переставил лампу ближе к тетради и ушёл на кухню. Я не легла, пока бабушка не закончила писать у своей доски. Когда за стеной стихло перо, я осталась сидеть с подушкой под спиной: вода, которую я увидела утром, не ушла вместе с голосом.

На следующий день Рита вырезала из старой газеты расписание приёма в училище. Мы сидели у школьного окна; она прикладывала полоску к тетради, выбирая, куда её вклеить. В колонке возрастов стояло «семнадцать лет», будто все мы подходим к одному утру и потом разом его минуем. Я взяла у неё линейку и вывела поля на новой странице. Вчера мне было столько же, сколько Савве в тот день на льду. Сегодня — на день больше. Рита спросила, отчего я перестала чертить. Я вернула ей линейку и сказала, что отвлеклась.

После занятий мы спустились вместе до магазина. Рита говорила о комнате в общежитии, где на четверых дают две кровати и никто не знает, кто из них первым привезёт чемодан. Она уже выбирала себе место у окна, хотя вслух всё

ещё утверждала, что не решила, подавать ли документы. Я не возражала. У ворот Шумовых стояла Витина санка с новым полозом. Из дома выходил Савва, неся пустое ведро за дужку. Он пропустил нас и пошёл к сараю. Я видела только его спину и не стала искать на нём утреннюю влажную черту.

Дома я увидела, что Алла Борисовна поставила за сочинение четвёрку и написала под последней строкой: «Теперь понятно, куда». Я вклеила расписание в тетрадь рядом, как просила Рита, и закрыла её. Две бумаги были одинакового размера. На одной обещали, что можно уехать, на другой я наконец написала, к чему возвращаться. Ни ту ни другую Савва не мог положить в карман и увезти за пределы Неми.

* * *

О том, что Опока будет в субботу, никто не объявлял по радио. Утром сторож отпёр клуб, хотя кино на этот день не назначали, а к обеду люди с нижних улиц начали подниматься по взвозу раньше, чем заканчивалась смена на складе. Вода ещё не двигала лёд. Отец сказал, что ночью под ним слышали глухой ход, и бабушка вынула книгу из чёрной клеёнки.

Я должна была помогать расставлять стулья. Клуб оставался церковью там, где поверх пола подняли новый настил и не довели его до старой стены: под сценой в щель уходил каменный свод. Рита принесла из школы стопку программ для будущего концерта и велела мне прикрыть ими дырку на первом ряду, чтобы кто-нибудь не зацепил чулок. У неё

на значке Пугачёвой откололся угол. Алла Борисовна, пришедшая вместе с нами, заметила его, но сегодня ничего не сказала.

Отец поднялся по боковой лестнице в пиджаке, который доставал раз в год. Галстук сидел так туго, что я ждала, когда он ослабит узел; он поправил вместо этого спинку крайнего стула. На сцене стоял стол для книги, под ним — низкая скамья. Никакой урны для жребия не было. Листки лежали под задним переплётом помянника, сложенные там столько времени, сколько кто-то из домов оставался должен.

Когда бабушка внесла книгу, люди в первом ряду встали; остальные поднялись за ними. Она положила её на стол и осталась стоять, как стояла дома у доски. Я искала среди вошедших Шумовых. Мария Петровна была у стены рядом с Витей, поправляла ему воротник, хотя тот отталкивал её руку. Коля стоял позади с Любой. Её ладонь лежала у него на локте, и она всё время согревала пальцы о его рукав. Савва не сел; остался у прохода, где можно было пропустить людей к своим местам. Их отец стоял снаружи под окном. Я узнала его широкие плечи, когда он повернулся к стеклу.

Гена вошёл поздно, пропуская вперёд мужчину в вязаной шапке. Тот снял её только у двери, увидев шапки в руках у всех остальных. Под ней открылась круглая лысина; нос был приплюснут к лицу, как у боксёра с районного плаката. Гена сказал ему что-то про дорогу до Вельска, и мужчина показал из внутреннего кармана конверт, который ещё не заклеил.

Они стали у задней стены. В бараке почти никто не знал, куда здесь садиться.

Бабушка открыла рабочие листы этого года. Она читала имена без годов и без того, что рядом с ними было записано. Я знала некоторые строки по памяти: они кончались там, где её перо оставляло промежуток до следующего ледохода. Вслух имя не имело промежутка. Оно становилось просто именем, и в зале кто-то узнавал его раньше, чем бабушка заканчивала фамилию. Я посмотрела на Дарью Лукину; она стояла у выхода и сжимала в руках детскую шапочку, хотя Петиной строки на сегодняшнем листе не было. Петю она не принесла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.